

Айхенвальд Ю. Щербина // Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Вып. II / изд. третье, исправленное и дополненное. – Москва, 1913. – С.58-67

Небольшая страница, вписанная в русскую литературу Щербиной, во многих отношениях напоминает собою антологию Майкова и лишь слабее ее в той степени, в какой и сам автор уступает дарованием певцу "Трех смертей". Зато Щербина, как известно, имел на ту Элладу, которую он славил, кровное право - право наследника, восторженно любящего сына: он был, в значительной мере с материнской стороны, грек по национальности, и все эллинское задевало в нем родственные струны. Правда, физически он жил вне отчизны своих великих отцов и никогда ее не посетил, хотя пламенно к этому стремился. Было нечто горькое в том, что жизнь держала его вдали от Греции, где он пребывал своей мечтой, и не пускала его туда на деле; в своем путешествии домой с севера Щербина родного рубежа не достиг. Но душа его тяготела к югу, и он горестно и радостно восклицал:

*Все, что меня с младенчества пленяло,
В чем видел я родство с моей душой,
Где сердце после бурь житейских отдыхало, -
О, Греция, все связано с тобой!*

И слышится жалоба сына, которому не дано было ни разу увидеть прекрасное лицо любимой матери:

*В слезах любви на жребий свой рощу я:
Мне не сойти в Нирее с корабля.
Нет, никогда тебя не посету я,
Любимая души моей земля!
Мне не слышать, как море вечно стонет
Над вечною могилу твоей.*

Если могила вечна, - значит, она уже не могила, и веет над нею какое-то неистребимое дыхание жизни. Оно тянет к себе заброшенного на чужую сторону поэта, и он, как поэт, в звучных стихах вызывает к тому, кто имеет счастье отплывать на родину, для кого уже "корабль готов, шумят ветрила, распущен флаг земли родной".

*Прошу тебя, пришли с дороги
Мне горсть земли, земли родной:
В часы душевные тревоги
Я окроплю ее слезой.
Взгляни на гроб Агамемнона
В его пустынной наготе,
И у колонны Парфенона
Пропой ты песню красоте.*

Щербина не видел Греции, но она так явственно жила у него во внутреннем мире и он так отчетливо представлял ее себе, что свое лучшее стихотворение посвятил вымышленной поездке своей в Элладу, победоносно возместил недававшуюся действительность яркой фантазией:

*Окружена широкими морями,
В тени олив покоится она,*

*Развалина, покрытая гробами,
В ничтожестве великая страна.
Я с корабля сошел при блеске ночи,
При ропоте таинственных валов...
Горела грудь, в слезах кипели очи;
Я чувствовал присутствие богов...
И видел я усыпанный цветами,
Рельефами покрытый саркофаг;
В них грации поникли головами
И Аполлон, и вечно юный Вах;
А в гробе том красавица лежала,
Нетленная, печальна, но ясна...
Казалось, она не умирала,
Казалось, бессмертной рождена...
И песнь ее носилась над могилой,
Когда уже замолкну ли уста, -
И все вокруг собой животворила
Усопшая во гробе Красота.*

Именно красота, животворная даже в своем уснении, и есть то, что пленяет Щербину в Греции и в жизни вообще. Эллада - родина прекрасного, и оттуда разлилось оно по земле. И Щербина жадно ищет его и напояет им свою душу; в этом он находит утешение тоске по родине, так как прекрасное - это и есть греческое. Как должен быть счастлив и горд человек, который знает, что вся красота в мире создана его матерью! Это - высший аристократизм, и так как на всем покоится красота, всюду сверкают ее брызги, точно роса на цветах, то поэт, пространственно разлученный с Грецией, психологически живет в ней, и только в ней. Он везде у себя, ибо где красота, там - Эллада.

Прекрасное и есть греческое. Оттого Щербина в своем культе красоты непременно придает ей характер эллинский. Так как она полнее всего сказывается в женщине и искусстве, то греческая женщина и греческое искусство и являются для поэта двумя путеводными звездами, - конечно, на общем небе природы (ведь "в природе - правда бытия"). Лучше сказать: женщина, искусство, природа сливаются в одно созвездие, ибо женская краса переходит в нечто космическое, в те Волосы Береники, которые воспеваает художник за их благодатное сияние. Он первый гимн поет жизнедавцу Зевсу, а второй - Прометею за пламя искусства. Для него "роскошно зеленеет святая пальма красоты", и он верует, что "жена нам возвращает Эдем, потерянный женой". На женщине от века почилла обязанность вернуть нам Эдем, который мы потеряли из-за нее, и для Щербины женщина эту великую обязанность свою перед человечеством исполняет уже тем, что существует. Поэтому в центре вселенной он ставит женщину, прекрасную носительницу жизни и красоты. Он увидел себя на просторе мира, он шел сначала, не зная куда, - но вот перед ним

*Вдали показалось море,
Над морем Киприды звезда.*

С тех пор не меркнет для него это светило, с тех пор он молился на женщину, поклоняется ей. Но поклонение его бурно, а не смиренно и не благоговейно; со своей богини он срывает одежды и восторгается ее наготой. Мир как гинекей - вот основной момент его мироощущения. Эротизм проникает его страницы, Киприда не покидает их. Женские лобзания Щербина поет неустанно, и стихи его, посвященные им, полны очень определенных деталей и откровенной чувственности. Последняя смущала цензуру его времени, и она ставила точки там, где у поэта были нестыдливые слова.

То, что он не угодил цензуре, мы бы ему простили; но у него есть худший грех: он не угодил Кузьме Пруткову, который по праву писал на него злые пародии... Дело в том, что на высоте греческой наивности и стихийного сладострастия Щербина не удержался, и гинекей его принимает иногда явно пошлый оттенок; чувственность его не имеет такой элементарной и непосредственной силы, которая оправдывала бы ее как самую природу или, вернее, делала бы ее не нуждающейся в оправдании. Любовь к женщине превращается в женолюбие, и сластолюбием оказывается сладострастие.

Кроме того, Щербина и вообще древним греком не мог остаться до конца. Как и Майков, он не выдержал язычества, не пошел беззаветно навстречу радости, не отдался в полную власть упоенной плоти, - он захотел оправдаться в своем наслаждении, приписать ему более идейный и степенный характер. Он как бы спохватился, вспомнил, что он не язычник, а христианин, и вот кипящее вино страсти, "искрометную кровь винограда", поэт разбавляет водой спокойствия, умеренности и на самое почетное место своего пантеона сажает уже не Афродиту, а Софрзину, скромную богиню благоразумия.

*... У лона жены русокудрой,
Молодой, полногрудой жены, -*

он хочет наслаждаться... "беседою мудрой". Если бы читатель подумал, что мудрое здесь явилось случайно, только в качестве удобной рифмы к русокудрое, то его разубедили бы в этом другие места из стихотворений Щербины. Например, он просит любимую женщину "сытныя снеди принести и весельем кипящие вина, и ароматы, и мудрого мужа Платона творенья". Сытныя снеди умеряются творениями Платона... Затем еще говорит он, что для него "мелодия духа разлита многозвучно в телесных чертах", и восклицает:

*Нет для меня, Левконоя, и тела без вечного духа,
Нет для меня, Левконоя, и духа без стройного тела.*

И вообще, если он в восторге "от белизны легкопенной скульптурного тела", если эти женские чары неотразимо влекут его к себе, то все же он не хочет отрешаться и от покровительства богини Софрзины с ее чувством умеренности и меры:

*Дай страсти, Киприда, дай больше мне страсти,
Восторгов и жара в крови:
Всего ж не предай одуряющей власти
Больной и безумной любви.*

Больное и безумное, конечно, были чужды язычнику, и он действительно соблюдал золотую меру в культе красоты, - но язычник бы сам об этом не говорил так настойчиво, не ставил бы себе в заслугу своего благоразумия, тем более что и оно не было для него чуждым, внешним велением и сдержкой, а грациозно и естественно, незаметно для его мощи, невидимо для его сознания, выросло из самых недр его природы.

Он часто воспевае любовь, Щербина, но берет у нее только то, что в ней светло, легко, чувственно. Трагизму любви, тому, чем она близка к смерти, хотя и сильнее ее, он посвящает мало внимания. В этой области серьезного отметим одно его тихое, грустное стихотворение - "Земля".

*Ты помнишь ли случай, родная?
Когда я малюткой была,
В саду меж цветами летая,
Меня укусила пчела.*

*Как палец мне жало палило
И слезы ручьями текли -
На палец ты мне положила
Щепотку холодной земли...*

*И боль от того унялася,
И радостно видела ты,
Как я побежала, резвяся,
За бабочкой пестрой в кусты...*

*Пора наступила иная,
И боль загорелась вновь...
Боюсь я признаться, родная,
Что жалит мне сердце любовь!*

*Но тем же и этой порою
Ты можешь меня исцелить:
Могильной холодной землей
Навеки мне сердце покрыть.*

Для того чтобы не возникла эта сердечная драма, для того чтобы сердца не пришлось лечить могилкой, лучше пусть девушка останется Миньонкой, пусть длится ее утро и дольше не настанет ее полдень:

*О, постой же на этом мгновеньи...
Не люби, не цвели и не зрей!*

Красота - не только в женщине, но и в искусстве. Великая традиция Фидия и Апеллеса живет в мире, который не довольствуется красотой одной природы, но и воспроизводит ее в человеческом вдохновенном творчестве. При этом, однако, отношение Щербины к искусству - какое-то двойственное, и это, может быть, связано с тем, что он вообще не имеет цельного мировоззрения и в поэзии его отсутствует даже какая-нибудь глубокая и оттого примечательная односторонность. Именно он ставит искусство, т.е. в известном смысле цитату, нечто вторичное и воспроизведенное, так высоко, что перед ним бледнеет непосредственная красота мира. Весна, покидая землю, оставляет свои краски поэту, и она уверена, что благодаря ему люди даже и не заметят ее отсутствия. Изменяют женщины, поблекнут их цветущие лица, все разрушится, все обманет, -

*Только в искусстве таится прямое блаженство,
Только в искусстве - обещанный людям Элизий.*

Но с другой стороны, Щербина исповедует более скептическую мысль, что "искусство, уж это - несчастье наше, о дети!". Искусство возникает уже тогда, когда в человеке зарождаются "потребы бесконечного духа", неудовлетворенные и неудовлетворимые стремления. Искусство - порыв к идеалу, и оно лишь оттеняет всю печаль и бедность реального. Оно - результат лишений; это - бедность и горе, слабый отзвук потерянного рая. Какая грусть и скудость в поэзии! И потому девочки, которые просят почитать им стихи, на самом деле в последних не нуждаются: они сами - воплощенные поэтические создания, живое созвучие.

Служитель искусства, поэт, наместник весны, имеет еще и другую - социальную важность, хотя сам Щербина уклоняется от песен, чуждых вечности:

То моя отвергла лира,

Что проходит с каждым днем.

Но и здесь он не остается последовательным, верным себе: осуждая русскую "безобщественность", он считает поэта совестью века, называет его "человеком передовым" и благословляет его на высокие подвиги духа:

*Да звучит твой стих обронный,
Правды Божией набат,
В пробужденье мысли сонной,
В кару жизни беззаконной,
На погибель всех неправд!*

Вообще, несмотря на указанное желание откликаться только на вечные темы, Щербине не чужды ни сатирические выходы против людей и нравов, ни более серьезные гражданские мотивы, и в потаенных складках его стихов, искаженное цензурой, все-таки живет презрение к злой традиции, к жизни беззаконной, к несправедливой современности. Он помнит Рылеева и тот равелин,

*Где, окованный цепями,
Гаснул русский гражданин.*

То, что узника сжимают черные стены темницы, а за этими стенами ликует природа и поют малиновки; то, что узнику небо, и горы, и пашни виднеются из тюремного оконца, - это представляет собою не только насилие над человеком, но и оскорбление природы во всем ее целом; ибо самая сущность ее - свобода, и если не свободно хотя бы малейшее ее создание, то это уже вопиет к небу, вопиет к ней - тем более когда свободу отнимают у ее лучшего творения, у ее любимого сына. Именно потому, что кругом - рабство и тьма, одного солнца мало Щербине; он хочет зажечь другое, и это другое солнце будет свобода. Когда-нибудь "два солнца засветят с небес" - это будет победа Прометея над Зевсом, человека над Богом.

Такую победу поэт считает необходимой: надо довершить дело Прометея. Личного Бога Щербина не признает. Но это не столько атеизм, сколько пантеизм, который и составляет пафос его поэзии. Как характерно выражается наш эллин, он чувствует "сострастье" ко всей природе и узнает себя в ней и ее в себе: "тайные струны природы в струнах души отзвучатся". Мир для него - одно существо, и есть мировая душа, как единство отдельных дыханий. Все кругом трепещет и чувствует, и жизнь - великое Одно. И потому, когда поэт, слыша в себе и кругом себя "звучащий рой всеструнных ощущений", бродит по лесу, он, как носитель вечности, как воплощенное бессмертие и кладезь жизни, чует вокруг себя не только все теперь живущие твари земной планеты, но и все отжившие; для него раскрываются вселенские тайны, и тогда он сознает, что на земле обитает не одно видимое население, но и то, чего он не видит, не слышит, не осязает и что воспринимает "смутным души ощущением". И поэтому он с "жадным сострастьем родственно внемлет мелодии листьев"; и утром, когда мир так свеж, он идет по горам и долинам и чувствует себя частью целого, единой каплей в океане живого. И он боится, как бы своей стопой не раздавить чужой жизни:

*И тихой стопою
Я буду на горы взбираться:
Боюсь раздавить я ногою
Червя, что ползет под травкою
Сияньем тепла наслаждаться;
Исполнен вниманьем
Для всякой летающей крошки,
И, груди сдержав колыханье,*

*В себя не втяну я дыханьем
В лучах затерявшейся мошки.*

В мировом океане живого не все, однако, живет одновременно, и там, где такой избыток жизни, роскошествует и смерть. Вот кузнечики завидуют долговечности сосен и елей, которые никогда, никогда не скидают своей зеленой одежды; соловей славит жизнь, но для него она мимолетна: он с розой рождается и с быстро вянущей розой умирает, и он завидует людям, которые могут в течение своего века прослушать многие песни многих соловьев; но и человек жалуется, что седеют его волосы и замирает его сердце, когда-то полное трепета и страсти. Все умирает; только бессмертно самое вместилище жизни, только не иссякает самый источник ее - неугасимое солнце; не знает кончины мир как целое, мир, во веки веков исполненный "страстных, вакхических стремлений" и никогда их не утоляющий:

*Ты только счастлив своею бессмертной
И несходящей весной,
Ты только вечен, румянец вселенной,
В небе горящий звездою.*

Оттого и обидно умирать, так горько не быть - "горе не жившим и горе отжившим!". И с ужасом чувствует каждое я свое одиночество и быстротечность.

*Чувствую, силы мои,
Юные силы слабеют;
Слышу - холодную руку
Смерть положила на сердце,
Страстное сердце мое...
Что же, разлитая всюду,
Царствует жизнь предо мною,
Все проникая собой?
Что же нигде я в природе
Образа смерти не вижу?
Я оглушен, ослеплен дифирамбом
Вечно стремящейся жизни,
Вихрем ее увлекаем,
И отстаю я от хода людей
В этом вакхическом беге, среди кликов,
Плясок и песен...*

В самом деле: есть в мире полноводный родник живой воды, есть в мире бесконечная возможность жизни - и тем не менее каждое индивидуальное существо обречено умереть. Какая трагедия, какая насмешка! Отдавать последнее трепетание своего тела, когда кругом трепещет любовь; задыхаться, когда около меня все дышит, когда окрест меня в беспредельных пространствах такое буйство жизни! Умирать при звуках мирового дифирамба, под ликование опьяненного и опьяняющего космического Вакха; уходить, когда все приходит, когда ласкает весна, с юга лазурного веет зноем и легкой прохладой, и глазами, темнеющими от наклонившейся смерти, видеть, как земля, одетая в зеленое, пирует свой брачный пир и не замечает наших похорон или отпускает нас без жалости и с насмешкой, - таков удел всего отдельного. "Много есть жизни в природе", и отдельное мечтает, говорит: "Жизнь я займу у природы"; но природа, такая богатая, такая неисчерпаемо-изобильная, не дает взаймы больше того, что она отмерила, и не делится с нами избытком своей жизни.

Именно оттого в душе человека, в душе поэта, и воцаряется в конце концов мертвенная тишина.

*Я наложил печать глубокого молчанья
На сердце страстное, на громкие уста;
Мной жажда вечная горящего желанья
Отчаяньем холодным залита.*

На высоте одного только сочувствия живому не останешься, и сострастие фатально уступает свое место бесстрастию. Вот мир рисовался Щербине как сладострастный гинекей, и всю природу оживлял он как единое божество, и говорило ему искусство, говорило всеми своими формами, и всеми своими красками, и всеми своими звуками, - но все это не спасло его от внутренней беззвучности, и в заключении его поэтической книги мы читаем про эту безотрадную тишь:

*В моей душе давно минули бури;
Уж мне чужда теперь их мрачная краса
И надо мной без туч и без лазури,
Как над пустынею, нависли небеса...
Спокойно все во мне и безмятежно,
Невозмутимая такая тишина,
Что мать бы мне завидовала нежно,
И счастья слезой заплакала б она...
Но, за врагов молившийся Спаситель,
К Тебе я возношусь сердечною мольбой:
Моим врагам, земной неправды Мститель,
За злобу не воздай подобной тишиной!*

Ибо это - тишина смерти. И к ней пришел такой поэт упоенной жизни и женщины, как Щербина. Но в потомстве, конечно, сохранилось не то, что в нем было тленного и тихого, а то страстное и сострастное, что изливалось у него в стихах пластической красоты и звучности, что до сих пор волнует своеобразной мощью старинных слов. Мы знаем теперь, что у него не было какой-нибудь исключительной, всезахватывающей глубины и звучали у него разные мотивы, которыми он сам проникался недостаточно; он то желал в конечном идеале всецелого познания, то стремился к одной любви; он скорбел страданиями "многочисленной толпы" и сетовал на человечество, что оно водворило смятение в своей семье, что оно расточительно тратит людскую кровь в беспрестанных битвах, которые он описал в прекрасных, немногословных октавах, - но потом утешался, успокаивался, не имея силы для отчаяния и отрицания; он далеко не был чужд общим мест, и многие его стихотворения являются только распространениями тех эпиграфов, тех чужих изречений, которые послужили для них поводами: мы все это знаем - и все-таки благодарно помним, что он искренне и страстно любил красоту и ею утешал себя в жизненных невзгодах, и она, как звезда, сияла ему над "общественной пустыней". Так как она сияет всем и поныне, то и поныне в кругу русских поэтов найдется скромное место и для певца жизни и женщины, для сына Эллады, ее сироты, которому бессмертная красота заменила давно умершую мать.